



ЧИТАЙТЕ В СЕРИИ

- Франсуаза Саган.** Слезинки в красном вине • **Франсуаза Саган.** Немного солнца в холодной воде • **Франсуаза Саган.** Шелковые глаза • **Франсуаза Саган.** Любите ли вы Брамса? • **Франсуаза Саган.** Смутная улыбка • **Франсуаза Саган.** Сара Бернар. Несокрушимый смех • **Франсуаза Саган.** В туманном зеркале • **Франсуаза Саган.** Сиреневое платье Валентины • **Франсуаза Саган.** Не отрекаюсь... • **Франсуаза Саган.** Через месяц, через год • **Антуан де Сент-Экзюпери.** Маленький принц • **Рэй Брэдбери.** Летнее утро, летняя ночь • **Рэй Брэдбери.** Лекарство от меланхолии • **Рэй Брэдбери.** Вино из одуванчиков • **Рэй Брэдбери.** 451° по Фаренгейту • **Рэй Брэдбери.** Кошкина пижама • **Рэй Брэдбери.** Марсианские хроники • **Рэй Брэдбери.** У нас всегда будет Париж • **Гастон Леру.** Призрак Оперы • **Агата Кристи.** Десять негритят • **Агата Кристи.** Убийство в «Восточном экспрессе» • **Гийом Мюссо.** После... • **Гийом Мюссо.** Ты будешь там? • **Гийом Мюссо.** Завтра • **Дж. Д. Сэлинджер.** Над пропастью во ржи • **Дж. Д. Сэлинджер.** Девять рассказов • **Симона де Бовуар.** Недоразумение в Москве • **Фрэнсис Скотт Фицджеральд.** Великий Гэтсби • **Фрэнсис Скотт Фицджеральд.** По эту сторону рая • **Валери Тонг Куонг.** Провидение • **Джо Дассен.** Подарок для Дороти • **Татьяна Булатова, Мария Метлицкая, Маша Трауб.** Тяжелый путь к сердцу через желудок • **Мария Метлицкая.** И шарик вернется... • **Эдуард Асадов.** Стихи о любви • **Маша Трауб.** О чем говорят младенцы • **Дэниел Киз.** Цветы для Элджернона • **Марио Пьюзо.** Крестный отец • **Чарльз Буковски.** О кошках • **Эдгар Аллан По.** Убийство на улице Морг • **Иэн Макьюэн.** Амстердам • **Стефан Цвейг.** Письмо незнакомки • **Ги де Мопассан.** Милый друг • **Ги де Мопассан.** Жизнь • **О. Генри.** Дары волхвов • **Эмиль Золя.** Дамское счастье • **Александр Куприн.** Гранатовый браслет. Олеся • **Тьерри Коэн.** История моего безумия • **Жюльетта Бенцони.** Сокровище

АЛЕКСАНДР
КУПРИН



Трапезовый браслет
Олеся



Москва
2018

УДК 821.161.1-31
ББК 84 (2Рос=Рос)6-44
К92

Оформление серии *Е. Анисиной*

Куприн, Александр Иванович.
К92 Гранатовый браслет ; Олеся / Александр
Куприн. — Москва : Издательство «Э»,
2018. — 224 с. — (Книга в сумочку).

ISBN 978-5-04-093204-7

Книги Куприна выдержали проверку временем. Вот уже больше ста лет их читают и перечитывают, экранизируют и ставят на театральной сцене. Он умел просто и без пафоса рассказать о самом важном — человеческой душе, в которой уместаются любовь и ненависть, великодушие и мелочная злоба, щедрость и скардность.

«Гранатовый браслет» и «Олеся» — одни из самых известных произведений великого писателя. Каждый из нас прочитал их впервые давным-давно, возможно, еще в школе. Тем интереснее к ним вернуться в более зрелом возрасте, чтобы открыть для себя то, что в силу отсутствия жизненного опыта воспринималось совсем иначе.

УДК 821.161.1-31
ББК 84 (2Рос=Рос)6-44

© Оформление.
ISBN 978-5-04-093204-7 000 «Издательство «Э», 2018

ОЛЕСЯ

I

Мой слуга, повар и спутник по охоте — полесовщик Ярмола вошел в комнату, согнувшись под вязанкой дров, сбросил ее с грохотом на пол и подышал на замерзшие пальцы.

— У, какой ветер, паньч, на дворе, — сказал он, садясь на корточки перед заслонкой. — Нужно хорошо в грубке протопить. Позвольте запалочку, паньч.

— Значит, завтра на зайцев не пойдем, а? Как ты думаешь, Ярмола?

— Нет... не можно... слышите, какая завируха. Заяц теперь лежит и — а ни мур-мур... Завтра и одного следа не увидите.

Судьба забросила меня на целых шесть месяцев в глухую деревушку Волынской губернии, на окраину Полесья, и охота была единственным моим занятием и удовольствием. Признаюсь, в то время, когда мне предложили ехать



в деревню, я вовсе не думал так нестерпимо скучать. Я поехал даже с радостью. «Полесье... глушь... лоно природы... простые нравы... первобытные натуры, — думал я, сидя в вагоне, — совсем незнакомый мне народ, со странными обычаями, своеобразным языком... и уж, наверно, какое множество поэтических легенд, преданий и песен!» А я в то время (рассказывать, так все рассказывать) уже успел тиснуть в одной маленькой газетке рассказ с двумя убийствами и одним самоубийством и знал теоретически, что для писателей полезно наблюдать нравы.

Но... или перебродские крестьяне отличались какой-то особенной, упорной несообщительностью, или я не умел взяться за дело, — отношения мои с ними ограничивались только тем, что, увидев меня, они еще издали снимали шапки, а поравнявшись со мной, угрюмо произносили: «Гай буг», что должно было обозначать: «Помогай Бог». Когда же я пробовал с ними разговориться, то они глядели на меня с удивлением, отказывались понимать самые простые вопросы и все порывались целовать у меня руки — старый обычай, оставшийся от польского крепостничества.

Книжки, какие у меня были, я все очень скоро перечитал. От скуки — хотя это сначала

казалось мне неприятным — я сделал попытку познакомиться с местной интеллигенцией в лице ксендза, жившего за пятнадцать верст, находившегося при нем «пана органиста», местного урядника и конторщика соседнего имения из отставных унтер-офицеров, но ничего из этого не вышло.

Потом я пробовал заняться лечением перебродских жителей. В моем распоряжении были: касторовое масло, карболка, борная кислота, йод. Но тут, помимо моих скудных сведений, я наткнулся на полную невозможность ставить диагнозы, потому что признаки болезни у всех моих пациентов были всегда одни и те же: «в серйдине болит» и «ни есть, ни пить не могу».

Приходит, например, ко мне старая баба. Вытерев со смущенным видом нос указательным пальцем правой руки, она достает из-за пазухи пару яиц, причем на секунду я вижу ее коричневую кожу, и кладет их на стол. Затем она начинает ловить мои руки, чтобы запечатлеть на них поцелуй. Я прячу руки и убеждаю старуху: «Да полно, бабка... оставь... я не поп... мне это не полагается... Что у тебя болит?»

— В серйдине у меня болит, панычу, в самой что ни на есть серйдине, так что даже ни пить, ни есть не могу.



— Давно это у тебя сделалось?

— А я знаю? — отвечает она также вопросом. — Так и печет и печет. Ни пить, ни есть не могу.

И сколько я ни бьюсь, более определенных признаков болезни не находится.

— Да вы не беспокойтесь, — посоветовал мне однажды конторщик из унтеров, — сами вылечатся. Присохнет, как на собаке. Я, доложу вам, только одно лекарство употребляю — нашатырь. Приходит ко мне мужик. «Что тебе?» — «Я, говорит, больной»... Сейчас же ему под нос склянку нашатырного спирту. «Нюхай!» Нюхает... «Нюхай еще... сильнее!...» Нюхает... «Что, легче?» — «Як будто полегшало...» — «Ну, так и ступай с Богом».

К тому же мне претило это целование рук (а иные так прямо падали в ноги и изо всех сил стремились облобызать мои сапоги). Здесь сказывалось вовсе не движение признательно-го сердца, а просто омерзительная привычка, привитая веками рабства и насилия. И я только удивлялся тому же самому конторщику из унтеров и уряднику, глядя, с какой невозмутимой важностью суют они в губы мужикам свои огромные красные лапы...

Мне оставалась только охота. Но в конце января наступила такая погода, что и охотиться

стало невозможно. Каждый день дул страшный ветер, а за ночь на снегу образовывался твердый, льдистый слой наста, по которому заяц пробегал, не оставляя следов. Сидя взаперти и прислушиваясь к вою ветра, я тосковал страшно. Понятно, я ухватился с жадностью за такое невинное развлечение, как обучение грамоте полесовщика Ярмолы.

Началось это, впрочем, довольно оригинально. Я однажды писал письмо и вдруг почувствовал, что кто-то стоит за моей спиной. Обернувшись, я увидел Ярмолу, подошедшего, как и всегда, беззвучно в своих мягких лаптях.

— Что тебе, Ярмола? — спросил я.

— Да вот дивлюсь, как вы пишете. Вот бы мне так... Нет, нет... не так, как вы, — смущенно заторопился он, видя, что я улыбаюсь... — Мне бы только мое фамилие...

— Зачем это тебе? — удивился я... (Надо заметить, что Ярмола считается самым бедным и самым ленивым мужиком во всем Перебрوده: жалованье и свой крестьянский заработок он пропивает; таких плохих волов, как у него, нет нигде в окрестности. По моему мнению, ему-то уж ни в каком случае не могло понадобиться знание грамоты.) Я еще раз спросил с сомнением: — Для чего же тебе надо уметь писать фамилию?



— А видите, какое дело, паньч, — ответил Ярмола необыкновенно мягко, — ни одного грамотного нет у нас в деревне. Когда бумагу какую нужно подписать, или в волости дело, или что... никто не может... Староста печать только кладет, а сам не знает, что в ней напечатано... То хорошо было бы для всех, если бы кто умел расписаться.

Такая заботливость Ярмолы — заведомого браконьера, беспечного бродяги, с мнением которого никогда даже не подумал бы считаться сельский сход, — такая заботливость его об общественном интересе родного села почему-то растрогала меня. Я сам предложил давать ему уроки. И что же это была за тяжкая работа — все мои попытки выучить его сознательному чтению и письму! Ярмола, знавший в совершенстве каждую тропинку своего леса, чуть ли не каждое дерево, умевший ориентироваться днем и ночью в каком угодно месте, различавший по следам всех окрестных волков, зайцев и лисиц, — этот самый Ярмола никак не мог представить себе, почему, например, буквы «м» и «а» вместе составляют «ма». Обыкновенно над такой задачей он мучительно раздумывал минут десять, а то и больше, причем его смуглое худое лицо с впалыми черными глазами, все ушедшее в жесткую черную бороду и боль-



шие усы, выражало крайнюю степень умственного напряжения.

— Ну скажи, Ярмола, — «ма». Просто только скажи — «ма», — приставал я к нему. — Не гляди на бумагу, гляди на меня, вот так. Ну, говори — «ма»...

Тогда Ярмола глубоко вздыхал, клал на стол указку и произносил грустно и решительно:

— Нет... Не могу...

— Как же не можешь? Это же ведь так легко. Скажи просто-напросто — «ма», вот как я говорю.

— Нет... не могу, паныч... забыл...

Все методы, приемы и сравнения разбивались об эту чудовищную непонятливость. Но стремление Ярмолы к просвещению вовсе не ослабевало.

— Мне бы только мою фамилию! — застенчиво упрашивал он меня. — Больше ничего не нужно. Только фамилию: Ярмола Попружук — и больше ничего.

Отказавшись окончательно от мысли выучить его разумному чтению и письму, я стал учить его подписываться механически. К моему великому удивлению, этот способ оказался наиболее доступным Ярмоле, так что к концу второго месяца мы уже почти осилили фамилию. Что же касается до имени, то его ввиду



облегчения задачи мы решили совсем отбросить.

По вечерам, окончив топку печей, Ярмола с нетерпением дожидался, когда я позову его.

— Ну, Ярмола, давай учиться, — говорил я.

Он боком подходил к столу, облакачивался на него локтями, просовывал между своими черными, заскорузлыми, нестигающимися пальцами перо и спрашивал меня, подняв верху брови:

— Писать?

— Пиши.

Ярмола довольно уверенно чертил первую букву — «П» (эта буква у нас носила название: «два стояка и сверху перекладина»); потом он смотрел на меня вопросительно.

— Что ж ты не пишешь? Забыл?

— Забыл... — досадливо качал головой Ярмола.

— Эх, какой ты! Ну, ставь колесо.

— А-а! Колесо, колесо!.. Знаю... — оживлялся Ярмола и старательно рисовал на бумаге вытянутую вверх фигуру, весьма похожую очертаниями на Каспийское море. Окончивши этот труд, он некоторое время молча любовался им, наклоня голову то на левый, то на правый бок и щуря глаза.

— Что же ты стал? Пиши дальше.



— Подождите немного, панычу... сейчас.

Минуты две он размышлял и потом робко спрашивал:

— Так же, как первая?

— Верно. Пиши.

Так мало-помалу мы добрались до последней буквы — «к» (твердый знак мы отвергли), которая была у нас известна как «палка, а посредине палки кривуля хвостом набок».

— А что вы думаете, панычу, — говорил иногда Ярмола, окончив свой труд и глядя на него с любовной гордостью, — если бы мне еще месяцев с пять или шесть поучиться, я бы совсем хорошо знал. Как вы скажете?

II

Ярмола сидел на корточках перед заслонкой, перемешивая в печке уголья, а я ходил взад и вперед по диагонали моей комнаты. Из всех двенадцати комнат огромного помещичьего дома я занимал только одну, бывшую диванную. Другие стояли запертыми на ключ, и в них неподвижно и торжественно плеснела старинная штофная мебель, диковинная бронза и портреты XVIII столетия.

Ветер за стенами дома бесился, как старый озябший голый дьявол. В его реве слышались



стоны, визг и дикий смех. Метель к вечеру расходилась еще сильнее. Снаружи кто-то яростно бросал в стекла окон горсти мелкого сухого снега. Недалекий лес роптал и гудел с непрерывной, затаенной, глухой угрозой...

Ветер забирался в пустые комнаты и в печные воюющие трубы, и старый дом, весь расшатанный, дырявый, полуразвалившийся, вдруг оживлялся странными звуками, к которым я прислушивался с невольной тревогой. Вот точно вздохнуло что-то в белой зале, вздохнуло глубоко, прерывисто, печально. Вот заходили и заскрипели где-то далеко высохшие гнилые половицы под чьими-то тяжелыми и бесшумными шагами. Чудится мне затем, что рядом с моей комнатой, в коридоре, кто-то осторожно и настойчиво нажимает на дверную ручку и потом, внезапно разъярившись, мчится по всему дому, бешено потрясая всеми ставнями и дверьми, или, забравшись в трубу, скулит так жалобно, скучно и непрерывно, то поднимая все выше, все тоньше свой голос, до жалобного визга, то опуская его вниз, до звериного рычания. Порою Бог весть откуда врывался этот страшный гость и в мою комнату, пробежал внезапным холодом у меня по спине и колебал пламя лампы, тускло светившей под зеленым бумажным, обгоревшим сверху абажуром.



На меня нашло странное, неопределенное беспокойство. Вот, думалось мне, сижу я глухой и ненастной зимней ночью в ветхом доме, среди деревни, затерявшейся в лесах и сугробах, в сотнях верст от городской жизни, от общества, от женского смеха, от человеческого разговора... И начинало мне представляться, что годы и десятки лет будет тянуться этот ненастный вечер, будет тянуться вплоть до моей смерти, и так же будет реветь за окнами ветер, так же тускло будет гореть лампа под убогим зеленым абажуром, так же тревожно буду ходить я взад и вперед по моей комнате, так же будет сидеть около печки молчаливый, сосредоточенный Ярмола — странное, чуждое мне существо, равнодушное ко всему на свете: и к тому, что у него дома в семье есть нечего, и к бушеванию ветра, и к моей неопределенной, разъедающей тоске.

Мне вдруг нестерпимо захотелось нарушить это томительное молчание каким-нибудь подобием человеческого голоса, и я спросил:

— Как ты думаешь, Ярмола, откуда это сегодня такой ветер?

— Ветер? — отозвался Ярмола, лениво подымая голову. — А паныч разве не знает?

— Конечно, не знаю. Откуда же мне знать?

— И вправду не знаете? — оживился вдруг Ярмола. — Это я вам скажу, — продолжал он